

— Ну и брызги же от тебя летят, Дарья Мартемьяновна, не поберегись — с ног до головы оплешешь.

— Не видишь, крыльцо домываю, скоро начальство придет, а у меня растворено — не замешано.

Дарья, подоткнув подол застиранной юбки и широко расставив ноги, спускалась по ступеням высокого конторского крыльца, выманивая за собой жирную октябрьскую грязь.

Она по голосу узнала Семена Федоровича, своего ровесника, и даже сердце екнуло. Сказала с деловой резкостью:

— А ты чего это с утра пораньше?

— К начальству вопрос,— уклончиво ответил ранний гость, тщательно уминая во влажную землю тощий окурок.

Дарья выпрямилась, отжимая тряпку, обернулась, у Семена, как всякий раз, душа замерла: не пожилую женщину, а крепенькую круглолицую белянку-красавицу, курносую, с кудряшками видел он перед собой

— Ты, верно, по большому делу, коли в хромовых сапогах и при шляпе. Шляпу-то зачем надел, сроду не видела тебя при шляпе.

Семен Федорович обиделся:

— Не смотришь в мою сторону, Мартемьяновна, вот и дивно тебе, что я прибахрился. А я, шутки в сторону, всегда стараюсь быть при аккурате, стало бы тебе известно. Чтобы ваш брат, бабы, не чесали языки по моему поводу.

— Да ладно тебе, в обиду впал. Я ведь без злобы.— Она вытряхнула тряпку, отойдя чуть в сторону от Семена, выплеснула из ведра воду и подошла к гостю, вытирая озябшие руки подолом верхней юбки.

— Как поживаешь, Семен Федорович? Авдоха твоя как здоровьем?

— Я ничего сам себя ощущаю, а Авдотья плоха, совсем гиблое дело. Дотянет до лютых морозов, потом всей деревней яму долбить придется.

— Христос с тобой! Такие речи!

— А я, Дарья, без сожаления, скорей бы. Детей нет, рыдать некому, сам для приличия слезу пушу, и опять вперед.

Дарья вздохнула.

— Ты проходить будешь или тут подождешь?

— Постою, пусть просохнут плахи-то, а то наслежу, опять от тебя взысканье.

— Много я с тебя взыскивала.

Семен встрепенулся:

— А ты суммируй, какую жизнь я прошел, много чего получается после нашей разлуки, и все за твой счет.

Дарья вздохнула:

— Нашел время и место. Грех тебе при живой жене такие разговоры заводить. А вот и начальство идет.

Председатель колхоза Григорий Яковлевич Гурушкин в плаще и резиновых сапогах, но тоже при шляпе, громко поздоровался, омыл сапоги в большом корыте, глянул на Семена.

— Ты не ко мне ли, Семен Федорович?

— Ежели примите, благодарен буду, а нет времени на меня — дождусь парткома, тот обязан.

— Проходи,— сказал председатель,— парткома теперь до второго пришествия не будет.

— А что с Володимиром Тихоновичем?

— Ты телевизор смотришь?

— «Рабыню Изауру». Третий раз. Смотрю и плачу.

— Не о том слезы льешь, Семен Федорович. Разве не слышал, что советы распустили и партию прикрыли?

— Так то не нашу! — обрадовался Семен Федорович.— Прикрыли какую-то в недоразвитых странах, знаю.

Гурушкин вздохнул:

— Ладно, пошли в кабинет.

Семен присел на краешек стульчика у стола, невысокого роста, чисто выбритый, сухой лицом и телом, не по годам подвижен и бодр.

— Григорий Яковлевич, ты мне скажи, как дальше будет деревня? Вчерась, сам видал, дойных коров погрузили на скотовозы, колбасы, стало быть, захотелось новым князьям и боярам. И что дале? Коров прирежем, чем кормиться будем? Ты же вечный крестьянин, хоть и молодой, но ты же в понятии, что без скотины деревня пустой станет.

Гурушкин размял сигарету, затянулся, разогнал клубы дыма рукой.

— Спросил бы что попроще, Семен Федорович, к примеру, дровишек или тесу на забор.

— Ты мне про тес не намекай, сам знаю, что два века не живут, тесины меня вто-

рую пятилетку на чердаке дожидаются. Батьку твоего вон на сколь пережил, а он только на три годика и постаре. Я тебя сурьезно спрашиваю, потому как не могу ума дать, что деется. Хлеб куда нынче дели? Молотили—молотили, через два дня пришел — скукуруикало зернышко, под метлу увезли. Терлись, сказывают, тут трое черныявеньких. Это не продзавёртка ли возобновилась? Говорили, что в тех отрядах голу-боглазых тоже немного было.

Григорий Яковлевич посмотрел в лицо этому пожилому человеку, давно пенсионеру, но понимающему колхоз как родное существо, хотелось сказать ему все, о чем думал в дни, да и вообще весь год шел к этому вопросу: а что дальше? Даже в районе слова не давали сказать, в область вовсе не приглашали. Но неизбежность формулировать свое понимание снова пришла вместе с любознательным и беспокойным стариком.

— Дядь Сем, ты же видишь, что творится стране. Оказывается, мы жили плохо, теперь все перестраивают, чтобы жилось лучше.

— Э-э-э, Гриша, такое я уж не пятый ли раз слышу на своем веку: сегодня плохо, потому что завтра должно быть хорошо. А ведь мы было зажили кучеряво: и зарплатешка выровнялась, и в магазинах кой-что стало появляться, мужики легковушек в кредит понабрали. Это плохо, скажи, плохо?

Гурушкин промолчал.

Старик понимающе кивнул:

— Хотел картошку продать заезжим хачикам, но таперика воздержусь, а то в мировую систему меня на носилках придется заносить. Отходишков для поросенка у тебя нет, зерна для курей тоже не продашь, стало быть, из живности остается старуха и кот блудливый. Потому картошка незаменимый стратегический продукт, по всей расейской истории так, ежели шутки в сторону.

Семен думать любил, рассуждал сам с собой, иногда даже ссорился, да громко, так что было сомнение у народишка насчет дальности его ума. Сам Семен этим особо озабочен не был, до пенсии плотничал, топором играл, на спор сургуч с водочной бутылки на чурке одним ударом срезал, но на народе больше молчал. Были в деревне несколько человек, с которыми он мог откровенничать безбоязненно, с ними и отводил душу. Но иногда срывался и на народе, высказываясь притчами и намеками.

Вот как человеческая жизнь так извернется, что вроде и полгроба из задницы торчит, прости господи, а все равно как не жил. Скоротечность и неуправляемость жизнью больше всего волновали Семена. Он сильно огорчился, когда пенсионную книжку получил, где написано, что назначена пенсию Семену Федоровичу по старости. Он аж отпрянул: почто по старости, не старик еще, кажись? Пошел в отдел кадров, попросил Фросю, чтобы поискала, может, есть книжки, где не старость записана, а, допустим, возраст. Фрося и говорить не стала: бумаги в райсобесе готовят, там и проси.

В район Сема не поехал, он района боялся еще с тех пор, как ездил хлопотать за друга своего Якова Матвейча, отца нынешнего председателя. Они на фронте шибко подружились, одной бомбой и ранило их при налете тяжелой авиации, только Сему контузило слегка, а Якова едва откачали, ногу отпилили и кое-что из внутренностей выбросили. Вернулся он в деревню совсем никакой, робить не может, а на пенсию документы где-то затерялись. Ну и рванул Сема в район, в одном здании пошумел, в другом, из третьего его под белы руки увели в камеру, а утром отправили в город соседний, в специальную лечебницу, ну, дурдом, по-нашему. Сема там только месяц и провел, но насмотрелся на всю жизнь. Какой-то доктор приехал, из умных, осмотрел Сему и заключение написал: в деревне рабочих рук не хватает, а тут здоровый мужик в калошах по двору ходит и кукишки воробьям показывает. Сему и отправили домой. Вместе с ним прибыло и народное подтверждение: точно, умом шевеленный

Семен, в дурдоме зря держать не будут.

Вот почему жизни нет простому русскому мужику? Вроде не шибко зло употребляет, работать может, а все как-то впустую. Крепко занимала умишко эта проблема: почему плохо живет мужик в деревне? Сема вспоминал свою жизнь. Первую самостоятельную борозду на пашне под зорким оком отца, когда послушная Пегуха осторожно прошла гоны, и десяток крикливых грачей бросились на свежий пласт чернозема. Потом эту землю вместе с Пегухой сдали в колхоз. Семку тоже записали колхозником, и он снова пахал эту землю, но земля была уже чужая, Пегуха тоже колхозная, и грачи вроде как загрузили.

Пришла пора, собрался Семка жениться, за Дашкой втихоря ухлястывал, Мартемьяна Безбородихина дочкой. Дарья-то не особо старалась убежать, когда с вечорок шли, но баловства не допускала, так и сказала:

— За титьку словишь — голову отверну.

Семка знал, что так оно и будет, в случае чего, потому жался к девке, как кот, шурился, да и она мурлыкала, в общем, заговорил Семен о свадьбе. Отец сразу сказал, что Мартемьян Дарью в нашу семью не отдаст, но сын настаивал, и сватов собрали. И Чирку, маленькому говорливому мужичку, и Парамонихе, которая знала весь обряд сватанья, пообещал богатый магарыч, пошли всей кампанией, но Мартемьян с раннего вечера спустил по двору двух кобелей, пришлось стоять под воротами и кричать хозяев. Кто-то из домашних убрал собак, но настроение жениха совсем поухло: собак убрал, сам отлаиваться будет.

Мартемьян стоял посреди просторной избы, уперев руки в боки, поулыбывался:

— В передний угол не приглашаю, незачем. Дарье порку уже устроил, чтобы блюла себя и следила, кто рядом трется. Мне с тобой, Федор, родниться нет нужды, ты и при новой власти все в тех же штанах, как при царизме. Не фартит тебе, и сын твой такой, с топором за поясом, как разбойник.

— Ты, Мартемьян Фадеич, семью мою не позорь, мы всегда жили честно и своим куском. Ты в сельпо подался, и слава Богу, а мы по колхозной части, там навар жиже. Только поперек их судьбы не становись, до добра это не доводит.

— Уж не пугать ли меня взялся? Увижу твоего трухлявого рядом с дочерью — запорю, не сам, найду доброжелающих. Все, порог знаете, где. Савельевна, ставь ужин!

Через неделю Семка перехватил Дарьюшку темным вечером, никуда отец не выпускал, а тут, видно, нужда какая поджала, бегала девчонка в легкой шубейке к родственникам.

— Ой, испугал ты меня! Давай хоть от ворот отойдем, а то тятя услышит.

— Не бил он тебя?

— Нет, словесно. Пообещал в район выдать за дружка своего, торговый начальник какой-то.

— А ты?

— Я — что? Сказала, что не пойду, а он хохочет.

— Значит, отдаст. А я об тебе сохну, кусок поперек горла. Когда отправить-то собрался тебя?

— Не знаю, тут проговорился, что тому надо еще со старой женой развестись, да в райкоме все уладить.

— Даша, неужто ты согласишься?

— Ой, отстань, и так голова кругом. Все, побежала я. Постой, я тебя поцелую.

Она охватила его за шею, он распахнул полушубок, прижал ее, так что сердечко слышно стало, и они неумело и сладко целовались. Обмякнув, она выпросталась из его рук, запахнула шубейку и побежала к дому.

Семен Федорович тот вечер всю жизнь помнил, и как зиму страшную пережили,

когда со дня на день грозился отец увезти дочь в район. Неведомо, какими путями все обошлось, рассказывают, власти партийные сильно воспротивились, один чин так и сказал: «Кабы партийный билет разрешал, я бы каждый год баб менял, а то и чаще. Так что ты про молодую жену забудь, а то все мы тут с ума посходим».

Семен Федорович как сейчас помнил, что встретились они с Дарьюшкой ранней весной в лесу, случайно, он жерди приехал на паре коней рубить для колхозного загона, она березовый сок собирала.

— Ты не одна ли?

— Разве он отпустит? Брат со мной, да он сорок зорит.

И нацеловались же они в тот момент — до одури. Березовка давно через край бутылки течет, а Дарьюшка не видит, не хочет видеть. Брат два раза окликнул, отозвалась тягучим голосом, и опять губы в губы.

— Ты чего несмелый такой, Сема, потискай меня, мне сладко, когда ты мнешь.

— Ага, а сама придушить обещала.

Она хохотнула:

— Дурачок, когда это было. А теперь я створки тебе открою, если ночью придешь. Придешь?

— Приду. Седни?

— Нет, дня через три, я дам знать, тятя уехать должен. Жди.

Дом Мартемьяна, доставшийся ему от отца, купца, державшего три лавки, стоял в глубине сада из густых неухоженных зарослей черемухи, акации и сирени. Поговаривали, что старый купчишка откупился от властей, а магазины свои передал в сельпо. Торговали сами, Мартемьян со временем все к рукам прибрал, от мобилизации в Финскую войну прикрылся грыжей, хотя пятипудовые кули с телеги прямо на амбарную эстакаду забрасывал. Месячную выручку всего сельпо у Мартемьяна разбойники отобрали, его в район лошадь привезла едва живого, только Семен сам слышал, прячась накануне за завозней и поджидая Дарьюшку, как Мартемьян кричал приказчику Фиме:

— Бей прямо в лицо, чтоб синяки были, чего ты меня гладишь?!

— Боюсь, Мартемьян Фадеич, вдруг ты за обиду примешь?

— Вот дурак, сказано, для великого дела надо, бей, все стерплю, а не то завтра же в военкомат сдам.

Позавидовал тогда Семка приказчику, уж он бы уговаривать не заставил. Дарьюшка прибежала напуганная, говорит, тятя зашел в дом и скрылся в своей комнате, не велел даже чай подавать. Полезли они через заросли к окошку, и видел Семка, как Мартемьян с разбитым лицом деньги пересчитывал и на три пачки делил, бормоча:

— Всех куплю, сволочей, а на фронт не дамся. Мне и тут в войну славно будет!

Дарьюшка в последнее время совсем с ума сходить начала, так и висла на Семке, а тот радовался и вздрагивал: вдруг кто застукат? Прямо сказать, Мартемьяна боялся.

— Убежим куда, Сема, везде люди живут.

— Куда я без бумаг, колхоз не отпустит, а так — посадят. Гиблое дело.

— Достукаешься, что выдаст меня за какого-нибудь полумотика, у него что ни друг, то жулик, и разговоров только про деньги. Завтра он уедет, как стемнеет, приходи к моему окну, я отворю. — Она прижалась к нему и шептала на ухо: — Увалень ты, Сема, и за что только люблю дурака? А отцу объявлю, что в положении, даже по деревне слух пушу, покочевряжится, и отдаст, никуда не денется. Все, побегла я, не дай бог, хватятся.

Ох, и долгий же был этот июньский день, уж сил нет терпеть, а все никак не темнеет. Мать спросила:

— Ты чего маешься? Живот скрутило?

— Скрутило, мать, мочи нет.

— Не трись здесь, сходи за пригон, потужься.

Ушел совсем, в дальнем углу сада перелез через прясло, дарьюшкино окно увидел, створки настез, облапал кряжистую черемуху, подтянулся, на сучок встал, до окна два шага всего. И тут как будто сучок треснул, и кто-то сильно лопатой плашмя ударил его по заднице. Когда уже бежал переулком, проскочив изгородь, понял, что стреляли в него, во как! Загаился, пощупал задницу — мокро, лизнул — кровь, а зуд такой, хоть волком вой. Докондыбал до Прони Бастенького, вроде как дружок, про Дарьюшку все знал, кое-как растаскал его на сеновале, рассказал. Пошли в баню. Поставив Семку задом вверх, Проня, осветил рану и захихикал.

— Ты чего ржешь, дурак, тут в зубах крови нет, а ему хаханьки.

— Семка, это тебе солью врезали, моли бога, что на четверть в сторону, а то бы и в окошки к девкам лазить нужды не стало.

— Ты не ржи, чего делать-то?

— Я так морокую, что отмокать тебе придется. Пошли на речку.

Вода была теплая, но Семку бил озноб. Проня заставлял растирать рану, чтобы соль вымывалась. Уже светать начало, когда Семка притаился домой. Несколько дней на работу не ходил, ничего, затынуло, как на собаке.

Поздним вечером Проня стукнул в окно и позвал Семку.

— Чего тебе?

— Выйди, дело есть.

Вышел. В тени ворот стояла Даша. Пронька махнул рукой и скрылся.

— Сема, это приказчик Фимка подслушал наш разговор и с ружьем сидел напротив окна. Сильно он тебя?

— Сойдет. Тебе, небось, тоже попало?

— Нет, тятя веселый ходит, не иначе задумал что-то. Ох, Сема, не хочу я ни за кого, а ты все медлишься. Бежать надо, здесь уйди я к тебе — убьет отец, я эту породу знаю. Того же Фимку наймет. Убежим, а? — Она положила головку ему на грудь.

Семен покачал головой:

— Некуда бежать, Даша.

Она неловко отпрянула от него, вздохнула тяжело, по-бабьи:

— Значит, нет в тебе жалости ко мне совсем, ты почто не ценишь, что в постелю свою позвала тебя, не мужа еще? До субботы жду, не решишься бежать — не подходи больше, я потом хоть за дьявола пойду, мне все едино.

И она быстрым шагом растворилась в темноте.

По теперешнему стариковскому разумению понимал Сема так, что убоялся тогда Дарьюшку выкрасть и тайком увезти, толи батюшки ее испугался, толи перемен жить в других краях, а это надо было не иначе, как в город. А кто он в городе? Так себе, пятое колесо. Ни разу в городе не бывал — куда бечь?

И три дня, оговоренные Дарьюшкой, прошли, и неделя, и месяц — не появляется она нигде, но речей нет, что в замуж увезли. Ретивое ноет, а ума не хватает. Приходит как-то дружок Проня Бастенький, зубоскалит:

— Дарью в лавке встретил, велено тебе к ихней задней калитке после управы походить. Ты бы на всякой случай задницу дощечкой прикрыл.

Пришел пораньше, притаился, как бы опять на приказчика не нарваться, увидел, что сама бежит, сердце в пляс пустилось. Обняла его, целует, а у самой слезы:

— Ничего не решил, Сема? Ах, пожалеешь, да поздно будет для обоих. Вот, слушай, он опять кого-то мне нашел, свирепый стал, я как-то про нас с тобой заикнулась — чуть не ударил. Деньги ему глаза застилают, да и только. Так вот, слушай. Чтобы он чего не удумал, я в подпол полезу, как за картошкой, и с лесенки упаду, понарошку, а орать буду во всю правду. Пусть любых фельдшеров везет, иначе чем на излом ноги не соглашусь. Месяц просижу, а ты, Сема, поедешь в город, дого-

ворись тут с бригадиром, пока сенокос не начался, съезди и все разузнай. Я вот тебе денег на дорогу принесла. Сема, славный мой! — Она припала к нему и дрожала вся.— Поезжай и все разузнай про работу и про жилье, говорят, там есть такие дома, где обшакком живут.

— Это как?

— Ну, в большом доме у каждого свой угол. Ой, да господи, нам и хватит!

— Отец прибьет обоих.

— Не прибьет! Я ему записку оставлю про мордобой нарошнешный и про три кучки денег. Убоится! Все, убегаю, хватятся.

С утра и до позднего вечера добирался Семен до города, заночевал в какой-то пекарне, у девчонок рабочих выпросился, тут же и про работу узнал, про жилье.

Девчонки советовали:

— Коли специальности нет, лучше стройки ничего не придумать, будешь подсобником, тяжело и тариф слабый, зато койку в общежитии дадут.

— А я с женой...

— Могут и комнату дать, только навряд ли.

— Мы и не расписаны еще в сельсовете.

Девчонки смеются:

— Таких жен отдельно селят.

Утром нашел строительную контору, наскочил на прораба, тот сказал, что хоть завтра выходи на работу. В конторе койку пообещали и Даше тоже в женской половине.

Домой вернулся измученный и беспомощный, так и не пристал ни к какому берегу. Услышал, что Дарья ногу повредила, в глине замотана, дома сидит. А на улицу выйдет — что ей сказать?

24 июня в размашистые луга Лебкасного лога и Коровьей Пады приехала на дрожках секретарь сельсовета Хроменькая Надя, сразу подтянулись мужики и парни, а она под расписку отдавала повестки. Все молчали. Молодежь хотела сразу сорваться домой, потому что отправка уже завтра, но бригадир приструнил:

— Надо сенишко дометать, вы уйдете, а колхоз со скотом останется, чтобы вас кормить.

Пришлось робить, только Наде наказали, чтобы по всей деревне бани топили, мобилизованных напоследок попарить.

Семка слегка обмылся, окатился холодной водой и вышел на воздух. Вечер мирный, небо в звездах, ни ветерка. Поднялся наверх от бани, она у них на задах огорода, подошел к пряслу, а Даша стоит в платочке, в платьишке ситцевом, вся воздушная, родная, так и прыгнула к нему на руки:

— Сеня, миленький ты мой, вот и выбор наш кончился. Ты скажи своим, чтоб не теряли, а я тебя в вашем сеновальчике ждать буду.

Коротка июньская ночь, для долгожданной любви коротка, для военной разлуки.

Даша так и не выпускала Сему из объятий:

— Родной мой, единственный, муж вечный, пентюх ты битюковый, отчего девчонка должна все за тебя решать? Не приди я — так и не насмелился бы. Я тебя ждать стану, ты возвратишься скоро, там же недолго, я в газете читала. А я тебе потом ребятишек нарожаю, целую кучу, таких же тихонь да скромненьких.

— Выдаст он тебя.

— Теперь не выдаст, прикинусь беременной, я же по-всякому умею.

— Идти надо, Дашенька.

— Пойдем. Сейчас он меня встретит.

Она обняла его и крепко—крепко в губы поцеловала, он даже сойкал, пригнулась к самому лицу, посмотрела на свою работу, довольная собой:

— Засос тебе поставила, чтобы все видели, что провожала тебя на фронт горячая девка, теперь уж баба твоя.

Вокруг зазвенели подойники, заспанные хозяйки толкали лениво жующих коров. Начинался очередной крестьянский день.

В глухих урманых местах спрятались три деревни, сказывали, не то пугачевские, не то разинские недобитые казачки сюда утянулись с Урала, баб по пути понабрали, да и обосновались. Леса богатющие, низины травой зарастают — литовку не проташить, а подлески да поляны распахали, рожь дуром дурит, перепелки выпорхнуть не могут, пешком выходят, колос с ладони свешивается.

Все это Сема знал от стариков, всегда интересовался прежней жизнью, когда своя не особо удалась. Будь пограмотней, записал бы, в потомство пустил, а так только сам и знал, да иногда рассказывал вместо баек.

Про колхоз его рассказ записал какой-то заезжий писака, три дня бражку пили у Семена, записал и рассказ вставил в книжку, когда советской власти не стало и распечатывали всякую чушь. Книжку ту он хранил и всякий раз показывал свой рассказ, хотя, очевидцы свидетельствуют, много всего Семка прибавил или писатель от себя тиснул. Но Сему это не смущало: история тем и интересна, что каждый ее может дополнить, если ума хватает.

«У нашего колхоза биография богатая, как у Володи-Тюрьмы, которого посадили еще ребенком, и за неполные пятьдесят он сроков получил в два раза больше, отсидел частично, зато в короткие передышки между посадками хвастал, как много он повидал. Бабы вздыхали, а ребятишки пучили глаза от восхищения и зависти.

Колхозы в наших краях создавали зимой тридцатого года, а наш образовался за одну ночь без предварительной проработки и подготовки, и это повергло в смятение районных начальников. Все понимали, что разовый успех наверху могут истолковать как результат системной и продуманной массово-политической разъяснительной работы, и никто не мог быть гарантирован, что завтра не заставят повсеместно поднять этот уровень и добиться единодушного и молниеносного вступления в колхозы всех граждан. А было много деревень, где единоличники заняли молчаливую оборону, поддакивали линии партии, но заявлений не писали.

Нашей деревне повезло в том смысле, что всегда у нас было полно мужиков с хорошо подвешенными языками, которые они не утруждали себя держать за зубами, и считали меткое слово не меньшей заслугой, чем добрый приплод в хозяйстве или хороший хлеб в закромах.

На собрание по поводу новой колхозной жизни в середине дня приехал к нам из уезда суровый человек в кожанке, правда, без нагана, хотя наган, сказывал сельсоветский кучер по прозвищу Кнут, у него был и лежал в «голеннице», по-городски — в портфеле, в гороховой тряпице. Уполномоченный начал с положения в партии и прошел через все революции, включая поверженный женский батальон, охранявший последний бастион мировой буржуазии — Зимний дворец. Уполномоченный, явно не наших мест, громовым голосом картаво говорил о всемогущем лозунге «Земля — крестьянам!», который наши мужики понять не могли, потому что земля в Сибири и есть у крестьян, у кого же ей еще быть? Даже председатель сельсовета Никитка Щинников пахал и сеял. Про помещиков и капиталистов, которые безотрывно пили кровь из эксплуатируемого крестьянства, у нас не слышали, и живыми этих кровососов никто не видел. Хотя в соседней деревне маркитант Феофан, когда колол свиней или другой скот, просил у хозяйки чистую кружку, нацеживал из раны свежей горячей крови и, перекрестившись, выпивал, вытирая тряпицей сгустки спекшейся крови с бороды и с губ.

Когда уполномоченный сказал про линию партии, и что она в данный историче-



ский момент пролегла именно по нашей деревне, стало как-то не по себе, но в ответ на вопрос Никитки: «Кто за колхоз?» дружно промолчали.

Тогда уполномоченный заговорил о кулаках и подкулачниках, о текущем политическом моменте и о голодающих детях какой-то эксплуатируемой страны, имени которой никто в деревне до этого не слышал, но, утверждал уполномоченный, дети там голодают только потому, что мы в своей деревне не желаем им помочь. Детишек было шибко жалко, некоторые бабы даже всплакнули, но для мужиков все равно было непонятно, и потому голосовать никто не стал.

Вот в это самое время, когда в президиумном застолье окончательно разыгралась растерянность, и уполномоченный похлопал по голенищу, наверно, проверяя, там ли наган, в это время к столу подошел Филя Задворнов. Он к советской власти никак не относился, но налоги платил исправно, приговаривал, что всякая власть от Бога, хотя в церковь ходил не чаще, чем в сельсовет. Он почитывал книжки и даже выписывал какие-то журнальчики про землю и про скотину.

Филя поклонился в сторону народа и произнес:

— Гражданин уполномоченный человек сурьезный, я и в газетах читал, что колхозы — штука прочная и надолго, потому вступать все равно придется, а чтоб время не терять, прошу вспомнить про Нюрку, что на Заговенье отдавали за Ваньку Федора Евсеевича.

Когда все дружно, под веселый хохот и отчаянное улюлюканье, подняли за колхоз руки, Никитка, чтобы не испортить момента, сам неудержимо хохоча, еще раз окинул орлиным оком большую школьную комнату, подвел итог:

— Записываю всех, так и отметим в протоколе, а заявления оформим завтра.

Только уполномоченный ничего не понял и угрюмо сидел за столом. Его революционное самолюбие было заметно ущемлено, он был подпольщиком до революции, тянул каторгу на рудниках, откуда сразу произведен в члены ревкома и наделен полномочиями комиссара револька. Он словом гнал людей на смерть и победу, дважды ранен, на съезде Советов с самим Лениным встречался, тут три часа речь держал, а аргументы какой-то Нюрки оказались и проще, и убедительней.

Наверно, за ужином Никитка расскажет ему, что в канун поста выдавали замуж простую девку Нюрку, и прямо на свадьбе, когда уже застолье подходило к концу, спрашивает перепуганная невеста у матери своей, как ей с женихом ложиться. Мать, женщина строгая, но справедливая, резанула во весь голос: «Ой, Нюрка, как ни ложись, все равно ухайдокат!». Скажи бы она тихонько, может, этим и обошлось, но совет слышали все и потом долго обсуждали, хотя все по собственному опыту знали, что так оно и есть.

Филька Задворнов, кажется, вовремя вспомнил о нюркином вопросе и мамашинем заверении в неотвратимости счастья семейной жизни.

Потом у нас был колхоз и очень много председателей. Их привозили районные представители в маленьких плетеных кошечках, потому что собрания проводили сразу после Нового года, стараясь не угадать под Рождество, и, хотя церковь в нашем селе ликвидировали еще до коллективизации, в правлении опасались за явку по причине пьянки. Бывало, что председателя до окончания полномочий райком убирал после особенно ущербной зимовки скота или сразу после первого снега, который, оказывается, помешал успешно завершить уборочную кампанию. Снимал и ставил председателей райком, но почему-то требовалось наше поголовное голосование.

Привезенный обычно тихо сидел в президиуме с краешка стола и пугливо озирался, после собрания счетовод Крысантий Спиридонович торжественно вручал ему колхозную печать. С утра новый председатель начинал робко раздавать наряды, бригадиры тоже предусмотрительно помалкивали, но эти были из местных, они всех колхозников знали по именам, и в такое смутное время старались от коллектива не

отрываться.

Что же касается Крысантия, то имечком его наградила крепко обиженный поп, который перед самым крещением младенца пришел в дом родителей новорожденного, чтобы получить необходимые подношения. Папаша, надо полагать, был человек прижимистый, на глазах священника вынес полную пудовку муки и ловко опрокинул в санный ящик. Поп все-таки успел заметить, что пудовка наполнена мукой со стороны доньшка, по ободок, муки там фунтов пять, не больше, но промолчал, а на крещении посмотрел в святцы и нарек младенца Крысантием. Против попа не попрешь, так и остался парень с диковинным именем.

Перед самой войной, примерно за год, очередного председателя не в своей кошевке увезли в район в сопровождении двух милиционеров. Толи чего где не досдал, толи брякнул по неосмотрительности. Из района приехал один представитель, без подкидыша, вышел вперед стола, привычно расправил под ремнем гимнастерку и громко сказал:

— Райком решил вам, товарищи колхозники, дать право самим выдвинуть председателя колхоза, и потому рекомендует на эту должность хорошо вам всем известного старшего чабана члена партии товарища Ерохина.

Ерохин, или по-деревенскому Ероха, ничем выдающимся знаменит не был, даже чабаном работал как бы по неполноценности, работа эта нетяжелая и бабья, но детей имел много. Любил говорить при случае: «Мы, партийные...». Правда, внимания на это никто не обращал, так и жил Ероха, пока какому-то райкомовскому хлыщу не попала на глаза папка с его данными. И оказалось, что всеми статьями тянет Ероха на председателя новой жизни: из крестьян — беднее не бывает, линию партии блюдет, краткий курс истории ВКП(б) прошел и согласен. Грамотешки маловато, если не сказать, что совсем нет, потому как младшую группу он закончил, а в среднюю отец не пустил, потому что по хозяйству работать надо, а чтобы Ероха не ревел, шепнул ему, что в средней группе ребятшек будут кастрировать. Но в райкоме об этом не знали, конечно.

За Ероху проголосовали, никто слова против не сказал. Сам Ероха был напуган поболее привозных, но против райкома возразить побоялся. Руководил он обреченно, как овец пас. В правление ходил, как на принудилровку, но в райкомовские поездки снимал свои скосопяченные пимы с натянутыми на них литыми резиновыми галошами. Наш деревенский толковый мужик Алеша Крутожопенький всю округу снабдил такими литыми калошами. Штука эта в хозяйстве крайне необходимая, без заказов Алеша не жил, резину поставлял ему свояк с промышленного Урала. И весной, чтобы ловчее было ходить на ферму, председатель тоже заказал калоши на белые чесаные валенки. Алеша снял мерку, и через неделю, с усилием натянув изделие на чесанки, лихо поставил перед заказчиком: носи на здоровье!

Чтобы гладкая резина не скользила по твердому снегу, Алеша выливал на подошве поперечные полоски. И председателю тоже отлил, но так ловко, стервец, изловчился, что большая председательская калоша оставляла на снегу четкую печать: «Ероха». Дня два, наверно, никто ничего не замечал, а потом всех словно разорвало, хохот в деревне стоял, как на вечеринках в старые годы, когда кто-то ловко гасил лампу, и парни шупали девок ко всеобщему восторгу.

Ероха сразу велел заложить выездного жеребца и махнул в район. Говорят, он так ушло все обсказал, что с ним согласились. Сейчас, говорит, колхоз на коленях стоит, вы же не хотите, товарищи партийные, чтоб я его вовсе на брюхо положил? Этого товарищи не хотели. Поговаривали, что главную причину, калоши со штампом, оставили в районе как вещь, но это наветы, калоши видели потом на Ерохе, когда он опять стал ходить за овечками, только печать с них была уже срезана.

После войны, уже в 1946 году, председателем избрали нашего деревенского Ке-

шу, который на фронт ушел молодым парнем, а вернулся майором и с молодой городской женой. Звали его уже Иннокентием Алексеевичем. Офицерскую форму он, наверное, с год не снимал, только погоны отстегнул. Дела в колхозе, знамо, послевоенные, еще год назад дядя его по материнской линии склад не сумел ревизии показать, так чуть под указ не попал, ладно, самогонкой тогда три дня всю бригаду употчевал, а то бы загремел. При Иннокентии народ отпил. Трактором самолично давил самогонные аппараты под плач и матерки односельчан, все бочонки и фляги из-под браги конфисковал на общественные потребности, бабы на ферме кипятком с крапивой и смородинными молодыми ветками не могли сивушный дух вышпарить.

Зато построили клуб и новую школу, мост через Ишим прокинули, на отчетных собраниях председателя ругали нещадно, но избирали заново, а когда Иннокентия хотели забрать в райком, весь колхоз два дня на работу не выходил, правда, это в сенокос было, в аккурат задожило чуть-чуть, так что все кстати, но бучу тогда большую подняли. Пришлось вечером собрание собирать и объявлять людям: «Никуда, мол, я не поеду, жните, что посеяли, чтобы вас жабил...»

«Чтобы вас жабил» — это было его самое большое ругательство.

Когда целина нагрянула, у нас тоже много чего распахивали, не все, правда, в пользу пошло, но поболее, чем у соседей. Выгоны и сенокосы вечные Иннокентий пахать не стал, а вместо этого нашел такие пустошки в первых лесках, что перекрыл все планы и хлеба завез на элеватор столько, что заведующий возмутился: не вози больше, буртовать некуда!

Потом прошел слух, что за целину будут давать ордена и медали, и что нашему Иннокентию привезут геройскую звезду. Наверно, так и должно быть, только сразу после уборки Иннокентий выдал колхозникам на трудодни зерна столько, что во дворах мешков не хватало, и золотую нашу пашеничку вываливали из грузовиков прямо на чисто выметенные ограды. Такая благодать была не везде, соседи стали пенять своим председателям, те пожаловались в райком, и Иннокентия даже вызывали, подвели под него статью, что он, де, идя на поводу и потворствуя частнособственническим интересам своих колхозников, действует в ущерб общегосударственной политике советской власти в деле колхозного руководства. Напрасно доказывал Иннокентий, что перед государством он все выполнил, что колхозник тоже человек, он жрать хочет еще до отчетно-выборного собрания, когда паи распределят. Секретарь райкома, видать, хороший был человек, он прямо сказал Иннокентию, в чем дело: смуга в районе пошла, до области донеслось, а в других колхозах все под госплан выгребли, дать придется на трудодень, чтобы только концы с концами... Сказал так же, что Звезда ему теперь уже не светит, обком отдаст другому руководителю. Иннокентия с колхоза убрали, двое суток с перерывами на еду и сон шло собрание, пока не встал секретарь райкома:

— Вы что, хотите своего председателя в тюрьму посадить? Ему же за этот хлеб авансом по трудодням срок полагается. Снимем с колхоза, доложим, что наказан. Не отдадите — силой заберут, ему же хуже. Подумайте.

Думать тут нечего. Мирона Чудинова привезли к нам из соседнего колхоза вроде как на повышение. Грамота у него небольшая, четыре школьных класса да курсы руководящих работников, но работу крестьянскую знал, дела наши шли неплохо. Мирона избирали в партийный орган и в депутаты, но всякий раз все заметнее стали спотыкаться о графу образование. На партийной конференции, когда мандатная комиссия докладывала о достоинствах делегатов, было отмечено, что с начальным образованием — один, и все знали, что это наш Мирон. Обиженный Чудинов пришел к первому секретарю и слезно попросил:

— Впишите мне хоть семилетку, ведь за эти годы я столько курсов прошел!

Ничего ему вписывать не стали, а скоро всех малограмотных округлили и отнес-

ли к категории «неполное среднее образование». Тут наш Мирон ожил. Председатель всегда оставлял за собой последнее слово, будь то на заседании правления, на колхозном совещании или на партийном собрании. Чаще всего разговоры и тут вели о производстве, так что Мирон был в своей стихии.

Но однажды случилось страшное. На обсуждение общего партийного собрания колхоза вынесли вопрос о воспитании молодого поколения. Пригласили учителей, весь беспартийный актив, секретарь парткома сделал доклад. Выступили комсомольцы и культработники, директор школы и фельдшер участковой больницы. Мирон вышел к трибуне в самом конце собрания, привычно прошелся по сводкам и врезал осеменатору за плохую случку коров, поговорил о предстоящем севе, об угрозе ящура, только что пришла телефонограмма из района, потом наклонился к парторгу:

— Об чем собрание?

— О воспитании молодежи, Мирон Федорович!

— Да, мы сейчас обсуждает трудный вопрос об молодежи и куда с ней деваться. Конечно, ее надо воспитывать, как учит партия и правительство. Только как ее воспитывать, вот в чем вопрос! Я вот иду на собрание, уже потемочки, а Варвары Филипповны сынок, сломок господень, стоит на клубном крыльце, вывалил его через перила и дует! Так неужто его воспитывать, чтобы он на девятое бревно выссылал!?

Собрание разделяло основные положения речи председателя, выслушало ее со вниманием и проводило аплодисментами.